

## Дядя Моня

Последнюю неделю в Америке я завтракал в небольшом не то кафе, не то ресторане на Брайтон-Бич. Мне здесь нравилось. Было тихо – как-то домашнему, достаточно чинно и в то же время уютно. Каждое утро приходил и садился напротив меня, но за другим столиком, дядя Моня.

Приходил – сказано сильно. Приползал? Нет, не то. Приводил себя медленно и медленно садился по частям. Не то... Он в буквальном смысле слова, пока шёл видимую часть пути от двери до стула, распадался на части, его руки выписывали непонятные конфигурации, ноги то переставлялись одна за другой, то волоклись по паркету, то приплясывали, а из груди раздавался глубокий, бухающий кашель, и казалось, он отрывает от своих лёгких по кусочку. Желтовато-седые волосы кустом осенних белых хризантем расплзались по его голове. Он был стар. Я даже не могу сказать, сколько ему было лет, да это и неважно. Он был очень стар. Обычно, как только он раскладывал себя за столом, глаза его утыкались в меню, но к нему подходил официант:

– Доброе утро, дядя Моничка, и за чем вы смотрите в этот картон, я знаю, что вы будете кушать. Итак, манная каша, два яйца всмятку, нежирная соси-

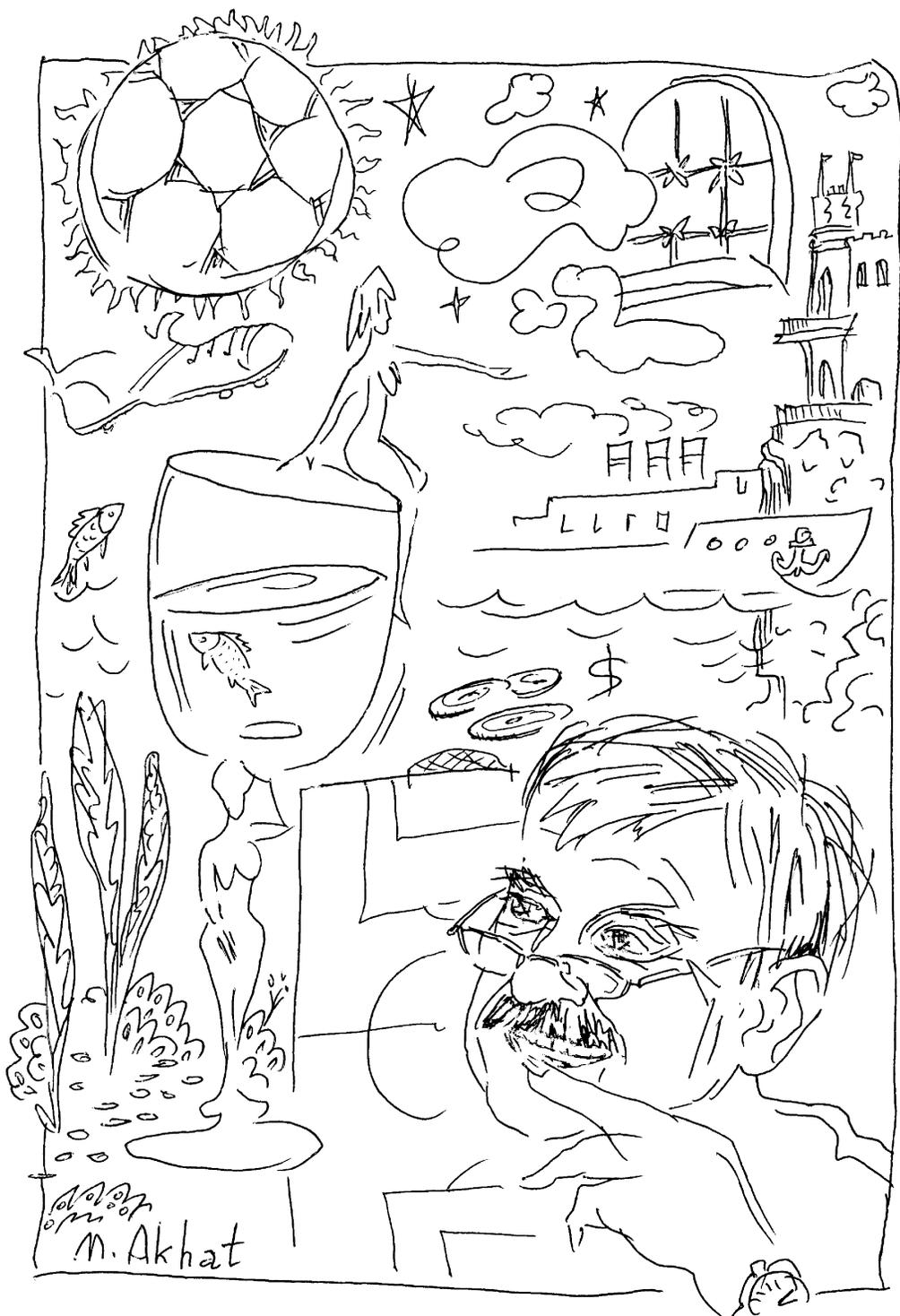
ска, хлеб, масло, чай с лимоном и кукисы (небольшие печенья).

– Да, да, – подтверждал дядя Моня и всё равно смотрел в меню. Одет он был скромно, но непоследовательно.

Рубашка под пиджаком была застёгнута не на ту пуговицу снизу, и воротничок слева открывал его плохо выбритую и худую шею, а воротничок справа подпирал плохо выбритую челюсть. Плащ, который он снимал почтённо и неуклюже, был вывернут наизнанку, он его вешал на спинку свободного стула перед собой, при этом я замечал плохо застёгнутую ширинку на брюках, но туфли, как ни странно, были всегда чистыми. Правда, на Брайтоне всегда были чистыми тротуары...

Наконец, официант, молодой человек лет тридцати, в чёрной паре и белой рубашке с бабочкой, приносил поднос с завтраком для дяди Мони. Дядя Моня трясущейся рукой со столовой ложкой пытался зачерпнуть манную кашу. Получалось у него это с трудом, и поэтому, когда он в очередной раз понёс ложку ко рту, она у него опрокинулась. Дядя Моня улыбнулся, и в это время к нему подошёл официант и вытер его салфеткой, затем взял ложку и сказал:

– Дядя Моня, давайте я вас покормлю.



В глазах дяди Мони я увидел негодование, но потом смирение. Он ел, как ребёнок, и иногда каша вылезала из его рта. Рука официанта тут же подбирала остатки и посылала обратно в рот. Наконец, каша была съедена. Настала пора яиц. Дядя Моня поставил яйцо в разукрашенную подставку и начал легонечко бить по нему. Он долго не мог попасть по нему, и, наконец, когда под треснутой скорлупой появилась аппетитная плоть яичка, он вонзил туда маленькую ложку, и в тот же момент на его рубашку и стол ударила струйка желтка, жидкого и горячего. Он инстинктивно отвёл корпус назад и опрокинул на стол и на брюки чашку свежесваренного чая.

– Ах, дядя Моня, ничего-ничего, вы не обожглись? – воскликнул официант. – Я вам сейчас всё поменяю.

Дядя Моня переставил руками свои ноги и сел спиной ко мне. Стол был убран, и на нём снова появились яйца всмятку, нежирная сосиска, чай, масло. Только уже без манной каши. Яйцо одно за другим он съел при помощи официанта. Наконец, исчезла в утробе дяди Мони и сосиска. Завтрак продолжался, они перешли к чаю. Официант пытался разговорить и отвлечь от неприятностей дядю Моню:

– Как обстоят дела с коитусом?

– Вчера проснулся, мял, мял, но ничего, одна моча выходит, хорошо.

– Что хорошего, дядя Моня?

– Хорошо, что моча отходит, мне это так приятно, а так хорошо...

– А что, на женщину хорошенькую не тянет, дядя Моня?

– Тянет, но я думаю, что это радикулит, – улыбнулся дядя Моня и срыгнул прямо себе на лацкан пиджака.

– Дядя Моня, потерпите, я сейчас, официант принёс из подсобки большое полотенце, затем вытер всё с лица и пиджака дяди Мони.

Затем он пил чай, шумно втягивая его в своё нутро и через рот, и через нос, надкусывая кукис с трудом, мягкие, сладкие песочные кукисы...

Наконец, подошёл официант.

– Ну что, дядя Моня, может, ещё что?

– Нет, спасибо.

– С вас пять баксов.

– На, возьми, доллар оставь себе.

– Спасибо, дядя Моня. Давайте я вас проведу до дверей.

За всем этим наблюдал хозяин заведения с довольной улыбкой, и вот когда дядя Моня и официант двинулись к выходу, он подошёл к дяде Моне и сунул в карман плаща свёрток:

– Моничка, дома съешь у телевизора, оладьи домашние, моя Фира приготовила.

Дядя Моня не успел сказать «спасибо», как в кафе вошла красотка с хорошей фигурой и аккуратным задом. Дядя Моня повернул голову ей вслеп и посмотрел каким-то чисто собачьим взглядом.

– Мой тип, – сказал он и цокнул языком. – Попадись она мне лет этак... и чтобы я с ней исделал.

– Ладно, дядя Моня, пошли, а то разволнуешься опять...

Официант поставил его на тротуар.

– Ну что, дядя Моня, дойдёшь домой?

– А куда же я денусь? Не дойду, до толкают. – И двинул свой опорно-двигательный аппарат навстречу беспечным прохожим. Он шёл всё так же медленно, как и пришёл, трясясь и оглядываясь на женские фигуристые привидения. Официант смотрел за ним ещё долго, и я спросил его

– Что за странный клиент? Такое ему внимание!

– Это же дядя Моня, еврей из Одессы, когда-то был известным в городе таксистом, сейчас постарел сильно. Вот и всё...

# Париж – мой любимый жулик

109

**Я** сидел в одной из кафешек бульвара Сен-Дени. Напротив – то, что по моим представлениям частично воплощало Париж, – прекрасное облако-женщина. Сгущаясь, плыло и останавливалось перед моими глазами, как на полотнах импрессионистов. Была и не была, красива и нет, но знаменитый французский шарм делал своё дело. Какой-то один из её шальных взглядов остановился на мне, поползал и отлетел, но вдруг вернулся...

Ей не было тридцати, она протянула из облака зажигалку, когда я дал понять, что мне нужен огонь. «Проститутка», – подумал я, и тут же спрятал эту мысль подальше. Ну почему так сразу? Красивая, одна, Сен-Дени... Что, не может просто так, просто в своём городе одна пить кофе?..

Она встала и превратилась из облака в обычную фигуристую женщину в неброском наряде и пошла, бросив на меня ещё один взглядик.

Париж шалит. Париж дурманит. Я догнал её у перехода. Дальше мы пошли уже вместе. Разговор ни о чём. Хорошая погода, город искусства, прекрасный кофе... Она: «Почему бы не выпить ещё чашечку кофе, я живу здесь неподалёку...» Я: «Почему бы и нет...»

И вот мы уже идём по узкой улочке, она как-то примирительно стучит каблучками. «Точно, проститутка», – мелькает в голове. А почему бы и нет? Но почему не говорит о деньгах?.. Господи, какая же я сволочь, так прямо и проститутка, где же её сутенёры, которые должны жадно преследовать нас? Я машинально оглянулся. Никого. Господи, какой же я мерзавец, даже если она и... но это же её дело. Да нет, просто какая-то симпатия, чашечка кофе для гостя из Москвы. Неужели я бы не сделал этого дома, познакомившись с

парижанкой где-нибудь в полутуристическом месте?

Наконец, мы пришли, как я понял, к её дому и стали подниматься по крутой каменной сбитой лестнице. Примерно на пятом этаже мы остановились перед оцинкованной дверью, она стала открывать её ключом. Вдруг я заметил сидящего на стуле крупенького, крепенького араба и всё понял. Это был её нукер, сторожила. Он одобрительно кивнул ей и презрительно посмотрел на меня. Она вошла в комнату и сказала:

– 700 франков, – и тут же разделась.

Я стоял, ошарашенный таким поворотом.

Она сказала повелительно:

– Нет денег – зачем пришёл? – И каким-то словом позвала нукера.

Он был высок и крепок и без промедления выпалил:

– Давай пятьдесят долларов и проваливай отсюда.

– За что?

– За то, что ты пришёл сюда и увидел её голой, за то, что ты уйдёшь отсюда.

– Да, но я...

– Иначе у тебя будут проблемы, парень...

Я спускался вниз и думал о том, что это слишком низкая цена 50 долларов за возможность быть избитым. Я спускался и постепенно отходил от холода, пробежавшего у меня по темени.

Но где наша не пропадала! Мы выкли, что нас всё время нагревают, и поэтому не очень расстраиваемся: то великий жулик – государство, то жулик продавец рубашек без спинки, завернутых так красиво, что ты покупаешь. И в очередной раз попадая, ты суммируешь все жульничества, в которые был вовлечён и оставался без денег, и понимаешь, что на этот раз всё закончилось

не так уж плохо. На эту психологию и рассчитывают жулики. И если тебя нагревает жулик, которого ты любишь, то это просто игра.

Но вернёмся в Париж. Погуляв и успокоившись, я рванул на Плас Пигаль... Париж дурманит. Париж чудит. В голове крутятся строчки не то Клячкина, не то Кукина: «Здесь, как на Плас Пигаль, весельем надо лгать...» И вот ты уже замечаешь рекламу горячего стриптиза. «Человек» приглашает тебя, и ты спускаешься в довольно приличный ресторан, тебя встречают и говорят, что за 100 франков входных одна выпивка бесплатная. Ну коль одна бесплатная, значит, ребята солидные, всё о'кей. Тебя усаживают напротив «горячего шоу», которое на поверку оказывается не очень горячим. Ну раздеваются, ну танцуют... Но в чём же жульничество? – спрашиваю я себя, нет здесь жульничества. Для них горячее, для меня тёплое шоу, какая разница, надо отдохнуть, расслабиться, попробовать Париж.

– Простите, вы мне закажете что-нибудь выпить? – раздаётся сладчайший голосок над ухом. Я оборачиваюсь, ко мне подсаживается одна из стриптизёрок.

– Что будете пить? Шампанское? – Я, естественно, галантен.

– Да, пожалуй. И коктейль.

– Нет проблем...

Она привычным жестом подзывает человека, и он приносит бутылку шампанского и коктейль. Затем она говорит, что будет пить только коктейль. Естественно, я убираю всю бутылку и заказываю вторую. Она:

– Ещё коктейль.

Я слегка кайфую. Она шепчет мне на недурном английском о том, что может быть потом... Мелькает в башке: эта чистюля с английским не обманет. Она так близко ко мне приближается, что я завожусь, но она бесстрастна и даже трезва после трёх огромных коктейлей.

На секунду она исчезает, я пробую её коктейль – обыкновенный апельсиновый сок. Первое сомнение заползло ко мне под ногти. После третьей бутылки

шампанского, а я могу держать удар, я решил рассчитаться, чтобы двинуться дальше, то ли с моей новой спутницей, то ли одному. Она узнала, что я из Москвы. И то, что я так легко многопил шампанского, доказал ей это...

Официант положил счёт на стол, я небрежно взглянул и подумал, что это нормально – 600 франков делим на пять, это получается... Это получается... считал я 120 долларов. Достал «зелёные» и покровительственно спросил: – Могу я заплатить такими? – Мсье, вы не поняли, посмотрите внимательней на счёт...

Я посмотрел и обомлел: там стояла сумма 6000 франков!

– Да, но это же деньги, за которые я могу купить ваш ресторан, – пытался пошутить я.

– Мсье, не шутите, у нас очень крутой ресторан. У вас есть деньги, чтобы рассчитаться?

Я пожал плечами: нет, таких денег нет. Моя девочка и человек срочно вскочили, от их любезности ничего не осталось, и они пошли к стойке мэтра. Пошукались. Мэтр подошёл ко мне и под горячее шоу пригласил в свой кабинет. «Надо платить, а то будут проблемы». Ох уж эти проблемы – они меня дома достали, а тут ещё и в Париже! Я сообщил им, что у меня есть 100 долларов, последние, что было чистой правдой. Они обыскали меня, забрали столик. Я совал им ещё пятьдесят франков. «Эту мелочь возьми себе», – сказали мне и начали допрашивать: где здесь живу и могу ли принести деньги. Я понимал, что меня обжулили, но звать полицию бесполезно, наверняка, они в стоворе, даже если и нет, старая болезнь боязни скандала придерживала меня.

Наконец, убедившись, что с меня больше нечего не получишь, они сказали:

– Лисен, гай (слушай, парень), у нас будут проблемы с нашим шефом, ты нанёс урон заведению, и у тебя будут проблемы, если ты не заплатишь.

Но говорили они как-то вяло, из чего я понял, они уже блефовали в послед-

ний раз, довольные тем, что отняли у меня 220 долларов за мои посиделки, по моим самым крупным прикидкам, долларов на 50. Наконец они отпустили меня. Девушка смотрела холодно, как патологоанатом...

И что же мы за народ такой, а? Нам ехать надо, а мы рыбу ловим. Всё оттого, что долго жили взаперти и не попробовали того, что мир давно прожевал и выплюнул. Мы настолько лишены своей частной жизни, что постоянно готовы влипнуть. Втягиваться в чужую частную жизнь, она нас манит, мы просто кай-

фуем оттого, что эта жизнь не наша – можно войти и выйти. Хорошо, если бесплатно, или так, по мелочам. А если по-крупному? Слава богу, что жулики – это не бандиты. Они всё делают красиво – и ты доволен, что рисковал и не влетал по-чёрному, да и они довольны: понемногу с каждого повытягивают – жить можно. Так что слова из фривольной песенки «Мама, я жулика люблю...» характеризует нас очень точно – жулик накажет тебя настолько, насколько ты сам готов к этому наказанию. А любимым прощаешь всё.

## Футбол

**Ф**утбольная игра – это своеобразный побег от действительности в художественную реальность. Сейчас я воспринимаю всё, что происходило со мной и моими соратниками, как мифологию, написанную ногами. Игры нет и всё же она есть, подтверждением тому служит моё возвращение на круги своя к бывшим стадионам, районам, друзьям и возлюбленным. Оказывается, всё это существует навсегда, и круг замыкается навечно. В мой первый переезд в Москву в команду «Локомотив» я поселился на Преображенке, а мой первый роман проистёк в районе «Автозаводской». И вот, когда я снова вернулся уже окончательно в Москву, то совершенно случайно поменялся опять на район Преображенки, а затем при очередном обмене внутри столицы, совершенно случайно оказался опять на «Автозаводской» – кручусь возле тех же двух мною любимых стадионов и команд – «Торпедо» и «Локомотив».

Когда я играл за «Таврию», то частенько на вокзале меня встречал из поездок дядя Федя, старый футбольный болельщик, который очень любил меня, работал носильщиком и всегда предлагал поднести тяжёлый спортив-

ную сумку. Но я всегда отказывался, и мы шли с ним по перрону, а он расспрашивал меня, как мы играли на выезде, я всё рассказывал ему и затем он говорил мне очень искренне: «Пойдём ко мне домой, у меня сад, познакомлю с внучкой, тем более, что дом наш стоит рядом со стадионом». Но я всё отказывался и отказывался. Но дядя Федя никогда не обижался, понимая, что у меня совсем другая жизнь и другие интересы. Но предлагал каждый раз, и каждый раз я отказывался. Знал ли я тогда, что попаду в его дом совершенно случайно, когда его уже не будет в живых и его прекрасная внучка станет надолго моей любимой женой? А случилось это в один из загулов, и с какой-то компанией я завалился в гости, где на стене вдруг увидел фотографию дяди Феди. Так мы начали дружить. Футбол и здесь вёл подсознательную работу – если бы мы не разговорились о её бабушке и я не сказал бы, что мы были знакомы и что он раньше меня приглашал сюда, то, вероятно, я бы во второй раз не пришёл в гости. Но задержался я там надолго, и пережил именно в этом доме свои самые счастливые и самые драматические дни в жизни именно с тем че-

ловеком, которого предлагал мне дядя Федя ещё когда-то. И кто знает, если бы я тогда пришёл, а не позже, то всё ограничилось бы только счастливой частью. Конечно же, меня приняли в штyki, несмотря на то, что узнали о моей дружбе с дедом. Бабушка говорила своей любимой внучке: «Да гони ты его, этого палестинца (она почему-то меня так называла), я помню, как он ещё до войны играл за флотскую команду в Севастополе и что они там вытворяли...» Хотя человек она была славный и просто понимала, что бывший футболист ничего хорошего не принесёт её внучке. И она оказалась права, хотя мы долго не верили в это вдвоём и боролись за своё счастье с её мамой, сестрой, мужем, моим бывшим замечательным другом и с самими собой. Бабушка была колоритной украинкой со своим неожиданным чувством юмора, и когда видела наши муки и страдания, то осуждающе говорила одну фразу, ставшую для нас всех афористической: «Да не любовь это, а разгул секса. Я вон с Федей поцеловалась в первый раз, когда у нас уже Шурочка была» (это она о своей дочке). Боже, вот куда я не смогу уже вернуться – в те жаркие августовские чаепития во дворе, в дикую тайну первой настоящей любви, так щедро и по-глупому растроченной. И это тоже футбол, его походная жизнь, философия одномоментности бытия и забота только о сегодняшнем дне, ибо только футбол, игра, художественная реальность давала иллюзию, что завтра можно переиграть и победить. Но в действительности, в жёсткой реальности всё было по-иному. Из-за этого многие ломались, не выдерживая столкновения с повседневностью, не всегда выигрышной.

Мой отец сам никогда не играл в футбол, по крайней мере не говорил мне об этом никогда. В войну он партизанил в крымских лесах, был командиром отряда, потом работал секретарём райкома, частенько запивая, из-за чего и сломался так рано – в 53 года, но ему было от чего так переживать – он понимал трагичность своего времени

и ничего не мог сделать. В последние годы он работал директором областного книготорга и налаживал сеть книжных магазинов по всему Крыму. Часто брал меня с собой в поездки, а тогда до Ялты машина шла шесть часов, и мы уезжали надолго. Мать переживала. Моя же память выхватывает такие детали интимной жизни отца, о которых я никогда не смел заговорить с матерью. Во всяком случае, чем это было, я осознавал уже взрослым, и понимал, что несмотря ни на что, отец держал семью крепкую – трое детей и беспрекословная жена. Она говорила, что никогда бы не посмела и заикнуться о его какой-то потусторонней жизни из-за гордости, не то, что нынешние жёны – выговаривала она мне, намекая на мою личную ситуацию. Но память не держит дурного ни на кого. И отца я люблю безотносительно его отношений с мамой. Она умерла в 72 года неожиданно на улице от сердечного приступа. Моя любовь к ней была не показной, но материнский комплекс она удовлетворила во мне сполна – во мне многое от неё. Отцовский же комплекс, из-за его ранней смерти, не был во мне удовлетворён, и я, как ни странно, с годами тоскую больше по отцу, чем по матери, хотя и то и другое несравнимо. Но я говорю правду, и Бог да мать меня простят. Но сам я себя не прошу никогда за то, что когда отец уже болел и сидел на стадионе в казённой пижаме, а я, уже тогда пижонистый футболистик, проходил мимо компании болезненных мужчин, стеснялся подойти к нему. Да простит меня отец за это, если он только слышит. Как я мучался этим, став взрослее, как я мучаюсь этим сейчас! А я слышал, как ему говорили: «Пётр, так это твой сын так всех здесь раскручивает в юношах?» Отец кивал головой и затягивался сигаретой через цветной наборный мундштук и звал меня, а я кричал, что опаздываю на тренировку, и ускользал. Отчасти потому, что мне было больно на него смотреть. Но как стыдно сейчас, Господи...

Помню, как однажды он взял меня с собой в Ялту. Сделав какие-то дела

и отпустив своего шофёра ночевать в гостиницу, он сказал мне: «Ну а мы пойдём ночевать в горы». Что я тогда понимал? И зная, что со мною отец, ничего не боялся. И мы буквально пошли в горы, как помнится, в сторону подножья горы Ай-Петри. Мы долго поднимались по длинной тропинке, в конце которой стоял у самого подножия поношенный дом, светившийся одним окном. Отец в тяжёлом кожаном пальто, в галстук и со свёртком в руке медленно шёл в гору, другой рукой подтягивая меня за собой. Наконец, мы пришли и остановились у двери. Отец постучал как-то странно, как будто подал знак. Дверь немедленно отворилась, и изнутри ему на шею бросилась женщина: «Петя...» Помню, что меня накормили и быстро уложили спать. О, эти родительские тайны! Наутро, крутясь с отцом по его работе, я забыл об этом, да и что я понимал? Лишь со временем всплывающая картина трактовалась совсем по-другому, и я понимал ещё и то, что он, провоевавший почти всю войну в партизанах, вероятно, имел не только один этот дом, где ему разводили навстречу руки. Кстати, отец был очень смелым человеком, отстаивая свои убеждения. Уже когда мне было лет тридцать пять, я был приглашён к одному из его бывших друзей по партизанскому движению, совсем недавно ушедшему из жизни Северскому Георгию (все помнят картину «Адъютант его превосходительства», так вот, это его сценарий), и он сказал мне: «Я хочу показать тебе одну книгу, чтобы ты знал правду о твоём отце, это книга приказов и распоряжений по Крымско-

му партизанскому соединению». – Он раскрыл на второй или третьей странице – там было напечатано на машинке следующее в форме приказа: «Расстрелять Ткаченко Петра Матвеевича за то, что он, выйдя к Севастопольскому железнодорожному полотну для разведки, возглавляя группу в шесть человек и встретив по пути немецкий отряд в количестве до 100, не вступил с ними в бой, а отступил в лес». Дальше шёл приказ об отмене этого приказа. «Это и ежу понятно, что отец был прав, ведь смысл партизанск...» – начал говорить я, но Северский отрубил: «Сначала нужно было это доказать. И он доказал». «Как?» – спросил я. – «Это было его первое ранение и орден “Красной звезды”», – сухо ответил Северский. – «Что же вы раньше мне этого не показывали?» – «Боялся, что ты неправильно поймёшь». Нет, я всё правильно понял... И ещё. Я навсегда запомнил фразу, которую отец сказал мне незадолго до смерти: «Запомни, сын, самые страшные люди – это люди из КГБ, они будут пить, гулять, дружить с тобой, но потом во имя якобы государственных интересов предадут тебя». Боже, боже, вот тебе и футбол – сын футболиста будет футболистом, сын партизана будет партизаном. Всё верно. Вся моя литературная и общественная деятельность – это какая-то партизанщина, подпольщина. Видно, дело не только в генетике, дело скорее в стране, в которой ты появился на свет и вынужден жить, всё время доказывая свою правоту и отсутствие вины, которую тебе повесили от рождения, чтобы держать в узде.